

Начало перестройки ознаменовалось множеством альбомов, открыток и статей, посвященных Обри Бердслею. Нельзя сказать, чтобы это было его открытие для отечественного зрителя-читателя. Уже в советское время его имя было хорошо известно отнюдь не только узкому кругу эстетов. После того, как цензура допустила в экспозицию музеев художников «Мира искусства» и с начала века был снят запрет, имя Бердслея все чаще и чаще встречалось среди упоминаний о Сомове, Бенуа и Баксте. В 60-е годы, в одной из первых советских монографий о «Мире искусства» (книге М.Г. Эткнда об Александре Бенуа) имя Бердслея упоминается лишь вскользь. В 70-е годы в каждой искусствоведческой группе университета кто-нибудь защищал или диплом,

или курсовую по теме «Графика Бердслея», и пылкие юнцы и юницы сидели в библиотеках над «Аполлоном» и «Золотым руном», выискивая публикации, ему посвященные.

Ни одно издательство и ни один журнал никаких публикаций об Обри Бердслее тем не менее не делали. Было совершенно ясно, что этот художник и советский образ жизни и мышления несовместимы. Объявленная свобода печати и смягчение цензуры сразу же повлекли за собой залп публикаций. Там, где раньше в «Огоньке» печатались «Бурлаки на Волге», воцарился Бердслей. Посвященные ему альбомы сразу же расхватавались; было очевидно, что публика очень ждала чего-нибудь об этом художнике, ее давнем любимце. Со всей ответственностью можно сказать, что

в нашем Отечестве бердслеямания непосредственно связана с ощущением свободы, и его популярность свидетельствует о смягчении нравов.

Вышедший в 1992 году альбом «Обри Бердслей» является, по сути дела, перепечаткой сборника начала века, публиковавшего переводы литературных произведений Бердслея и статей о нем, написанных сразу же после его смерти. За исключением небольшого вступления А. Басманова, написанного совершенно в традициях панегириков Бердслею начала века, все статьи о нем в этой подборке датируются годами до 1917-го. Таким образом, отечественная бердслеямания начала 1900-х перепелась с ностальгией по вожденному 1913-му. Надо сказать, что никаких новых переживаний и мыслей за семьдесят лет своего подспудного существования в России творчество Бердслея не вызвало. Оказалось, что он проспал в гробу, как Спящая царевна. «Черный алмаз», «Теплица порока», «Оргии Астарты» и прочие красочные определения, на которые были столь щедры отечественные критики начала века, по-прежнему украшают страницы, написанные об Обри Бердслее, провозглашая его одним из самых благоуханных и ядовитых цветков в мировой оранжерее Цветов зла, выращенной на компосте Бодлера, Верлена и Рембо.

Не найдя в Бердслее ничего нового, перестроечная свобода подергала его и как-то даже забыла. Юнцы и юницы, страстно листавшие старые журналы, удовлетворились покупкой нового альбома и закинули его на книжную полку, заставив Сорокиным и Пелевиным или переводами Жене и Селина. Бердслей вышел из моды, едва в нее снова войдя, и сегодня трудно представить выставку в галерее современного искусства, как-либо соотносящуюся с феноменом Бердслея: восхищение им стало уделом нежных барышень, перебирающих бисер на поеден-

ных молью платьях эпохи модерн, или новорусских гостиных, где любовь к Бердслею ассоциируется с любовью к культуре.

Отрицать феноменальность Бердслея было бы несправедливо. Действительно, во всей истории мировой культуры невозможно сыскать художника, наделавшего за столь короткий срок столько шуму, что он не стихает еще и сто лет после его смерти. Бердслей прожил всего двадцать пять лет и был только книжным графиком, не создав, по сути дела, ни одного самостоятельного произведения: все его творчество состоит из виньеток, заставок и иллюстраций для книг и журналов. Он бы должен был восприниматься как мастер очень узкой области дизайна, а стал культурным феноменом. Аристофана и Попа читают лишь избранные, а иллюстрации к «Лисистрате» и «Похищению локона» помнят все; в какой-то мере в этом даже можно усмотреть ошибку культуры и полное отупение масс-медиа, представляющих роман «Анна Каренина» только по голливудской экранизации.

Серьезное искусствознание не очень жалуется Бердслею. Отдавая ему должное в исследованиях по модерну, его никогда не рассматривают как явление истории искусства — он скорее воспринимается как парадокс вкуса. Серьезной монографии о Бердслее до сих пор не вышло, во многом потому что, переболев им в юности, в дальнейшем искусствоведы взирают на него с нежной иронией, как на свои детские ползунки — вещь трогательная, но афункциональная. Поэтому Бердслей оказался отданным на съедение прессы, и прямое обращение к нему более характерно для газет и журналов, чем для уважающих себя ежегодников, а для альбомов больше, чем для монографий.

Подобная ситуация ни в коем случае не определяется его тематикой и привязанностью к разного рода порочности. Бердсле-

евские Цветы зла уже давно жагутся цветочками невинности по сравнению с Пазолини или Джеффом Кунсом. Настораживает другое — его необыкновенная легкость, на которой он постоянно настаивал, и постоянная ирония по отношению ко всему, в первую очередь — к собственному творчеству.

Легкость вообще раздражает. Раздражает она и в Моцарте, хотя ему нужно было знать нотную грамоту, что может примирить с потоками его произведений. Раздражает она в Рафаэле, но тому хоть приходилось расписывать большие пространства, что может восприниматься как залог основательности. Когда же почеркушки вундеркинда, не прошедшего художественной школы, заставляют кричать о себе весь мир, с раздражением справиться очень трудно, и даже трагическая ранняя смерть не может его успокоить.

Вторым раздражающим фактором в Бердслее является то, что он нравится всем. Он не может не нравиться, он все силы положил именно на это и этого достиг. Постольку поскольку он уже многим успел понравиться и слухом у многих вызвать восторг самый непосредственный, то человеку умудренному и изощренному эти непосредственные восторги разделять как-то неловко: в сознании самопроизвольно включается какой-то особый механизм, реагирующий ровно наоборот, на непосредственные эмоции.

Если же подобное обольстительное дилетанство еще к тому же подается с ироничной улыбкой, подразумевающей, что автору хорошо известно, какую туфту он преподносит зрителю, и к тому же автору так же хорошо известно, что эта туфта не может не понравиться, так как у зрителя совершенно тот же вкус, что и у автора, то раздражение уже превышает все пределы. Или начинаются восторженные всхлипывания о демоне-искусителе, или

раздается бранчивая отповедь, или, у самых умных и достойных, возникает выражение достойного недоумения по поводу возможности интереса к подобной мишуре. В сущности, все эти реакции едины, и они определили специфику Beardsley's craze — постоянной популярности этого художника, всегда имевшей привкус скандала. Его появление в истории искусства до сих пор воспринимается как появление демимонденки на собрании матерей благородных семейств, трансвестита среди попечителей сиротских учреждений или хиппи на заседании государственного совета.

Повторяющийся скандал становится нормой жизни. Анне Карениной лишь в первый раз было так трудно в театре, и если бы она не расперевивалась, а продолжала бы стойко гнуть свою линию, то на двенадцатый раз, в худшем случае, никто бы на нее и внимания не обратил. С Бердслеем произошло то же самое, и сегодня его постеры спокойно могут быть повешены во всех детских, не вызывая никакого шока в цивилизованной стране. Ушли скандальность, модность и популярность, и бердслеевский эстетизм стал ненужным уличным сором прошлогодних рекламных объявлений, перекатывающихся под ногами прохожих. Герой светской хроники рано или поздно превращается в комическую фигуру.

Несправедливость подобного заключения по отношению к Бердслею невероятна. Никаких цветов зла, теплиц разврата и скандалов с ним не было связано. Все это был чудный, нежный и теплый детский мир невинных сказок, сплошная Алиса в стране чудес. Николай Евреин, в своей статье о Бердслее долго распространяясь о скандалах и скандальности, потом замечает: «...биография Бердслея не дает ключа в интимную обитель его «чудовищного» творчества». Действительно, большой туберкуле-

зом мальчик был очень хорошим мальчиком, вежливым, послушным и благожелательным. Ни с кем не ссорился и не скандалил, очень много читал, уважал старших и никогда не был Дорианом Греем. Болел он с детства и никогда не мог вести распутной жизни. Совершенно очевидно, что он и не хотел ее вести, и что ни в коем случае его рисунки и его проза не были сублимацией потаенных желаний. Его творчество столь же чисто, как первое томление подростка, и лишь извращенная мораль может в них видеть что-

то ужасное, подобно тому, как ханжа вздрагивает при разговоре о детском онанизме.

Боже правый, как чисты и естественны все эти милые детские пороки, для многих ставшие первым приобщением к культуре. Все саломеи и бафилисы Бердслея порочны не более, чем пинюкки и мальвины, и их созерцание столь же чисто и назидательно, как чтение Ханса Кристиана Андерсена. Только очень хорошие мальчики и девочки получают истинное удовольствие от созерцания его рисунков. Для многих первая встреча с Бердслеем на страницах «Аполлона» и «Мира искусства» стала лучшим воспоминанием юности, и открытые случайно, без всякого знания о Beardsley's craze, эти картинки ассоциируются теперь с жадой свободы, раскованности и счастья, чувством легким и нежным, как сама юность. Нет ничего низменного и порочного



Обри Бердслей. Автопортрет

в этом весеннем томлении души, когда будущее кажется полным необыкновенных возможностей, и сама душа, чистая и голая, существующая, выбегает в первый раз на полянку, поросшую цветочками Бодлера, Верлена и Рембо. Милый мальчик, трагически умерший столь рано и перед смертью именем Иисуса умоляющий уничтожить все его рисунки, что могли бы счесть непристойными, не имеет ничего общего с тем, что из него сделали похотливые взрослые, раздраженные его умением скользить по жизни и культуре, демонстрируя виртуозные пируэты и предоставляя интеллектуальному до глупости юрпори возможность до хрипоты спорить о том, что такое фигурное катание — спорт или искусство. «Чудовищного» в его творчестве нет ничего, есть только сказки про чудовищ, а они прелестны.

АРКАДИЙ ИПОПОЛИТОВ



Обри Бердслей. Ценезмус, склоняющийся Миррину к сонтию. Иллюстрация к комедии Аристофана «Лисистрата», 1896